
ВАСИЛИСА ЯРОВАЯ
СЕКРЕТАРША С КОРОНОЙ
БРАЧНАЯ КОНТОРА ГОСПОЖИ ВЕЙС
КНИГА ВТОРАЯ

Брачная контора госпожи Вейс

Василиса Яровая

Секретарша с короной

«Тайниковский»
2026

Яровая В.

Секретарша с короной / В. Яровая — «Тайниковский», 2026 — (Брачная контора госпожи Вейс)

За неделю до свадьбы принцесса Финелла сбежала из дворца. Ей сказали, что её жених — чудовище, и она решила проверить это сама. Под чужим именем девушка устраивается секретаршей в брачную контору госпожи Вейс и надеется затеряться среди анкет, голубей и чужих свадеб.Но у судьбы свои планы: ей поручают подобрать невесту загадочному Риву Тёрну. Он не умеет лгать, не любит объяснять свои поступки и почему-то кажется Финелле слишком знакомым. А ещё рядом с ним её редкий дар — слышать, как звучат люди, — впервые подсказывает нечто важное.Пока Финелла перебирает кандидаток, до срока, который удерживает два королевства от войны, остаётся всё меньше времени. И чем ближе она узнаёт своего клиента, тем труднее ей понять: кого же она пытается найти — его невесту или саму себя?

© Яровая В., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1. Девять томов и один плащ 5
Глава 2. Отсутствие аллергии на голубей 12
Глава 3. Худшая секретарша Арвена 19
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Василиса Яровая
Секретарша с короной

Глава 1. Девять томов и один плащ

Невеста не задаёт вопросов о женихе. Вопрос есть сомнение, а оно есть трещина в чаше, из которой предстоит пить обоим домам.

«Девять томов этикета Светлого леса», том третий, «О помолвке»

Платье пели третий день.

Пять мастериц сидели вокруг меня на низких скамеечках, и у каждой была своя нить и свой голос. Альт подшивал подол. Два сопрано вели по лифу серебряные листья, один лист на вдох, один на выдох. Самая старая, мастерица Ионель, держала низкую грудную ноту, на которую всё остальное нанизывалось, как бусины на леску. Я стояла посреди Зала Ткачих на табурете, раскинув руки, и старалась не дышать слишком заметно.

Шевелиться на примерке нельзя. Паутинный шёлк запоминает движение и потом повторяет его всю жизнь. Сестра моей прабабки однажды почесала нос, пока ей вели рукав, и её свадебное платье до сих пор, через двести лет, тянется манжетой к лицу, едва его вынимают из сундука. В семье это называют «примерочной памятью» и показывают невестам как предостережение. Я видела этот рукав в детстве. Он почёсывал воздух.

Поэтому я стояла. Это я умела лучше всего на свете: стоять, где поставили, держать руки, где велели, и звучать так, чтобы никто не заметил. Последнее, впрочем, получалось само. Собственного звука я не слышала никогда.

Всех остальных слышала.

У светлых в каждом поколении рождается кто-нибудь со «слухом созвучия». Обычно такого ребёнка сажают к арфам, или в совет, по правую руку от Владычицы, чтобы он слушал, кто из послов фальшивит, или к страже, отбирать новобранцев. Мне досталось всё сразу и ничего толком: я слышу, как звучит каждый, кто рядом, и как звучат вместе двое. В лад или вразнобой. Ионель, например, гудела, как старый дуб на ветру, и мне не надо было на неё смотреть, чтобы знать: стежок у неё ровный, спина болит, и до вечера она меня не отпустит. Молодые мастерицы звенели, как ольховые листья, все пять одинаково, и это значило, что одна из них сейчас расскажет остальным что-то про стражника у Нижних ворот и все захихикают.

Захихикали.

— Тише, — проворчала Ионель, не поднимая головы от подола. — Нить слышит.

Нить слышала. На лифе, прямо над сердцем, у одного серебряного листа задрался кончик, будто ему тоже стало смешно. Сопрано испуганно его пригладили.

Ильвэ сидела у окна с четвёртым томом на коленях и делала вид, что читает. Моя старшая сестра изображала чтение всякий раз, когда на самом деле следила за всеми в комнате, и на каждого у неё находилась глава. Звучала она натянутой струной, одной, низкой, без единого обертона. Сама Ильвэ говорила про это «держать себя в руках». Про себя я звала её «граб»: прямой, твёрдый, и всё у него идёт в дело, даже листья.

Лаэна сидела на полу у моих ног. Средняя сестра, мечтательница, лучшие стихи в Светлом лесу, худшие оценки по трактату о межевых знаках. Она звучала флейтой из соседней комнаты: мелодия есть, а где именно играют, не поймёшь. В руках у неё был портрет.

— Нет, ты только посмотри, — Лаэна повернула его ко мне, хотя я и так смотрела на него с весны. — Какой подбородок. Благородный.

— Подбородок по канону, — Ильвэ перевернула страницу, которую не читала. — Третий образец, «Мужество». У нашего деда такой же на парадном портрете. А дед, как ты помнишь, был похож на сыроежку.

— Ильвэ, ну как тебе не стыдно!

— Мне стыдиться нечего, — отрезала Ильвэ. — Я описываю то, что вижу. А вижу я третий образец.

Она была права, и от этого было хуже. Обычай Завесы запрещает жениху и невесте двух домов видеть друг друга до обряда: при обручении они обмениваются парадными изображениями, а те пишутся по канону, где на выбор двенадцать подбородков, девять носов и четыре взгляда. Мой портрет, который где-то в Сумеречном пределе висел сейчас над чьим-то столом, представлял девицу с носом «Кротость» и глазами «Ожидание». Носа такого у меня не было. Ожидания тоже.

Жениха звали Ривен Морвейн. Младший сын Сумеречного Владетеля Эрендала. Сто сорок лет. Нос «Твёрдость», взгляд «Даль», подбородок, как установила Ильвэ, третий. Больше о нём я не знала ничего, кроме того, что его народ не умеет лгать: у сумеречных неправда застревает в горле, как рыбья кость. Это все повторяли мне с таким видом, будто других достоинств у жениха и не требуется.

Мне бы хватило одной его ноты. Одной-единственной. Я бы сразу поняла, какой он, по звуку, как отец по стуку понимает, здоров ли ствол. Но звук на портрет не пишут.

— Говорят, у сумеречных глаза, как у сов, — мечтательно протянула Лаэна. — Видят в темноте.

— Говорят многое, — оборвала Ильвэ и закрыла книгу, заложив её пальцем. — Подними правую руку выше, Финелла. Ионель ведёт рукав.

Я подняла. Ионель повела.

Сопрано у лифа подняла голову, мечтательная, в точности как Лаэна.

— Через восемь дней ваше высочество выйдет к Лунному броду, и весь лес будет петь.

Я ответила то, что полагается отвечать по третьему тому: «Лес поёт, а невеста слушает». Голос вышел ровный. Мастерица обрадовалась, будто я подарила ей серебряный лист.

Восемь дней. Свадьбу назначили на первое Астры, на пограничной поляне у Лунного брода, там, где кончается наш лес и начинается их. Договор «Сумеречный мир», подписанный шестьдесят лет назад моим дедом и его бабкой, требовал, чтобы союз двух домов скрепили печатью до ночи Первого инея. Иначе он терял силу, и лес Пограничья, с Серебряными родниками, с тремя деревнями, с мельницей и бобровой запрудой, возвращался «к праву меча». Матушка говорила об этом так часто, что я выучила формулировку вместе с паузами. Бобровую запруду я видела однажды. Бобры о договоре не знали.

К полудню Ионель наконец отпустила меня, и я сошла с табурета так осторожно, словно он был краем обрыва. Платье осталось стоять на распялке посреди зала, белое, тихо звенящее, с одним серебряным листом, задравшим кончик над сердцем.

Мне показалось, что оно смотрит мне вслед. Это, разумеется, было не так. У платьев нет взгляда, даже канонического.

Мои покои располагались на седьмой ветви Серебряного Ясеня, с восточной стороны, и по утрам туда приходило солнце, а по вечерам белки. Я любила их обоих примерно одинаково. Солнце хотя бы не воровало орехи из шкатулки для колец.

Девятый том лежал на подоконнике раскрытым.

Сначала я подумала, что оставила его так сама. «Девять томов этикета Светлого леса» я знала наизусть с семидесяти лет, читала каждый вечер по главе, как другие читают молитвы, и раскрытой книгой меня было не удивить. Но я помнила, что вчера заложила том на главе о поведении при внезапном снегопаде, а сейчас он лежал открытым на сто сорок второй странице, «О вестях, полученных без подписи». Из книги торчал сложенный вчетверо листок.

Бумага была человеческая, плотная, без водяного знака. Почерк ровный, ни одной кляксы. Так пишут люди, которые долго учились, чтобы их почерк не узнали.

«Ваше высочество. Простите дерзость того, кто желает вам добра и поэтому не ставит подписи. Наследник Сумеречного Владетеля был помолвлен трижды, до вас. Ни одну из трёх его прежних невест никто с тех пор не видел. Говорят, все они живут у него в подвале, под библиотекой, и в безлунные ночи оттуда слышно, как одна из них поёт. Вторая уже не поёт. О третьей не говорят вовсе.

Сумеречные не лгут. Спросите его сами. Только сначала спросите себя, хотите ли вы услышать ответ.

Ваш доброжелатель».

Я прочла записку дважды. Потом закрыла глаза и повторила её в третий раз, по памяти, чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь, что я пропустила.

Том четвёртый, глава одиннадцатая: «Анонимное письмо не читают. Если прочли, ему не верят. Если поверили, не подают вида». Я пробежала все три ступени за полминуты, споткнулась только на последней.

Не поверить было бы легко. Слишком уж складно: три невесты, подвал, пение. Так рассказывают у костра младшим кузенам, чтобы те не ходили ночью к пограничной поляне. Но кто-то написал «вторая уже не поёт», и эта строчка застряла у меня под рёбрами, как заноза под ногтем. Человек, придумавший страшную сказку, сочинил бы, что несчастная рыдает. Или стонет. Он не вывел бы «уже не поёт». Так мог выразиться лишь тот, кто знает, что для меня тишина страшнее крика.

Или тот, кто знает, что я должна так подумать.

Я сидела на подоконнике, держа записку на коленях, и смотрела, как по соседней ветви бежит белка. Ясень подо мной поскрипывал, медленно и ровно, как всегда, когда над лесом стоит безветрие. Ему было девятьсот лет. Он видел свадьбы всех Владычиц нашего дома и ни на одной не волновался.

«Спросите его сами».

Спросить я не могла. Обычай Завесы. До обряда ни слова, ни взгляда, ни письма, только портреты. Кто бы ни прислал записку, он знал это не хуже меня, а значит, это было не советом. Это была дверь, нарисованная на стене.

Я сложила листок обратно вчетверо и сунула в рукав. Потом вынула и согнула ещё раз, вдвое меньше, как будто от этого он станет менее правдивым.

Через час у матушки был вечерний приём. Я решила, что пойду и скажу ей. Не про записку даже. Про то, что не хочу.

Тронный зал Светлого леса устроен в кроне, на самом верху Ясеня, и потолка у него нет. Над головой небо, по краям восемь стволов, а трон заменяет кресло из живого корня, которое растёт заодно с каждой Владычицей и за сто лет её правления принимает её форму. Матушкино сиденье было высоким, прямым и узким. Как она сама.

Владычица Аэлинор слушала доклад казначея о налоге на мёд. Она звучала, как стеклянный колокол, по которому ударили однажды, давно, очень сильно, и звук с тех пор никак не уляжется: высоко, чисто и так тонко, что больно ушам. Рядом, чуть позади кресла, стоял лорд Эльдрин Аэвар, её советник и наш дядя по материнской линии, весь в белом, с седыми волосами до плеч. Его звук был мягкий, как у лютни, обёрнутой в бархат. Слышно, что инструмент хороший. Что на нём играют, разобрать невозможно.

Я дождалась, пока казначей откланяется, и вышла на середину зала. Поклон по первому тому, «дочь перед матерью, в присутствии совета»: правая нога назад, ладони раскрыты, взгляд на третью ступень у кресла, не выше.

— Финелла, — окликнула матушка, не повернув головы. — Список гостей со стороны сумеречных пришёл утром. Сорок два имени. Посмотри после приёма, кого из них посадить у воды, а кого у костров. Ты слышишь людей лучше, чем мой церемониймейстер.

— Матушка, я…

Слово «не хочу» стояло у меня на языке целиком. Два слога, я проверяла в покоях перед зеркалом, и там оно выговорилось. Здесь, на середине зала, у кресла из корня, на глазах у совета и дяди, язык повёл себя так, как его учили сто двадцать три года. Второй том, глава о несогласии: «Отказ старшему излагается не менее чем в трёх строфах, дабы смягчить удар и дать отвергнутому время собраться с духом». Я открыла рот, и оттуда вышли три строфы.

Я не стану их приводить. Это были хорошие строфы, с внутренней рифмой и с образом осеннего листа, который не хочет падать на чужой берег. В третьей был даже перенос, которым я потом некоторое время гордилась. Совет слушал с одобрением. Лорд Аэвар прикрыл глаза, как ценитель на концерте.

Матушка дослушала до конца, не перебив ни разу.

— Красиво, — признала она. — Во второй строке третьей строфы хромает размер, прилагательное надо ставить перед существительным, иначе ударение уходит. Но в целом недурно. Ты всегда лучше Лаэны держала цезуру.

— Матушка, это был отказ.

— Это было стихотворение, — Владычица наконец посмотрела на меня. Взгляд у неё был по канону «Даль», только настоящий. — Отказ звучит иначе. Вот так: «Владычица, я, Финелла Аэлиндор, не выйду за Ривена Морвейна и принимаю, что лес Пограничья вернётся к праву меча, что войско Аэваров, которое стоит на опушке с весны, войдёт в Серебряные родники, а сумеречные встретят его у брода». Скажи это. Прозой.

Я молчала.

Лорд Аэвар чуть шевельнулся, белый рукав прошуршал по корню кресла. Про Аэварово войско я знала, но слышать о нём в присутствии дяди было странно: в моих мыслях дядя был тем, кто приносил нам засахаренный миндаль и учил Лаэну держать перо, а вовсе не тем, у кого есть мечи и стрелки. Его лес Пограничье был до договора. Так рассказывали на уроках истории, тем же тоном, что про бобров.

— Аэлинор, — голос у него оказался таким же бархатным, как звук. — Дитя волнуется. Невесте положено волноваться, это в третьем томе.

— В третьем томе невесте положено слушать, — возразила матушка, не повернувшись к нему. — Финелла, у тебя есть ещё что-то?

У меня была записка в рукаве. Я вытащила её, развернула, и пальцы, как назло, дрогнули, так что бумага зашуршала на весь зал. Подошла к ступеням и протянула. Матушка взяла записку двумя пальцами, прочла, не меняясь в лице, и вернула.

— Убери. Владычица не читает неподписанных писем.

— Вы её прочли.

— Я прочла её как мать. Как Владычица я её не видела, — она положила руки на подлокотники, и корень под ними тихо скрипнул. — Сумеречные не лгут, Финелла. Но и не обязаны рассказывать, что у них в подвалах. Подвалы есть у всех. Договор у нас один.

— А если там…

— Тогда ты выйдешь за него и узнаешь. Невесте до обряда не положено задавать вопросов, после него спрашивай сколько угодно. Это тоже в третьем томе.

Это было не в третьем томе. Это было в шестом, в главе о супружеской переписке, и сказано там было иначе. Я помнила это совершенно точно, матушка тоже, и ни одна из нас не произнесла бы этого вслух.

Лорд Аэвар сошёл ко мне со ступеней. Взял мою руку в свои, сухие и тёплые, и накрыл ладонью сложенную записку.

— Дитя моё. Это глупая шутка, какой-нибудь фрейлине захотелось посмотреть, как ты побледнеешь. Хочешь, я узнаю, кто это написал?

Я сказала: «Благодарю, дядя». Это не было ни «да», ни «нет», и он, кажется, понял это не хуже меня, потому что отпустил мою руку и не стал настаивать. Записка осталась у меня.

Потом я отвесила поклон по первому тому, правая нога назад, и ушла. Сорок два имени я так и не посмотрела.

Девятый том называется «Об обстоятельствах, не предусмотренных томами с первого по восьмой». Он тоньше остальных и написан позже, триста лет назад, когда выяснилось, что жизнь всё-таки иногда выходит за пределы восьми томов. Там есть глава о том, как вести себя, если в середине обряда начался град. Есть о госте, обернувшемся в лису. О невесте, которую унёс ветер, и это не метафора: у нас в лесу бывают такие бури, и в восемьдесят первом году одну беднягу действительно сняли с вершины соседнего бука только к утру. Есть о той, у которой пропал голос. И о той, у которой появился второй.

О невесте, которая уходит сама, там нет ничего.

Я проверила. Сидела до полуночи на подоконнике, при одной свече, и листала, хотя знала том наизусть и занятие это было глупое. Белки давно ушли спать. Ясень поскрипывал. Внизу, в Зале Ткачих, тихо звенело платье на распялке, его звук долетал до седьмой ветви, как запах доходит из кухни: чуть-чуть, но не перепутаешь.

Около полуночи я закрыла том и поняла, что решила.

Не тогда, у кресла матушки, когда не смогла сказать «не хочу». И не над запиской. А сейчас, над закрытой книгой, где для меня не нашлось ни одной главы. Если уж ни в одном из девяти томов не сказано, что мне делать, значит, решать придётся самой. Я никогда в жизни ничего не решала сама. Даже цвет лент на именины мне выбирала Ильвэ, потому что «у тебя нет вкуса, а у меня есть». У меня его действительно нет, она и тут была права.

Собиралась я так, как собиралась бы, наверное, сама Ильвэ: по списку.

Плащ. Мои плащи были белые, голубые и серебристые, с вышивкой по краю, и в каждом меня узнала бы любая белка. Но в сарае у старого садовника Тэлиона, у корней, висел его рабочий, серый, длинный, с капюшоном, пахнущий землёй, мятой и немного козой. Козы у старика не было. Откуда пахнет козой, я так и не узнала. Плащ я взяла, оставив на гвозде вместо него свой голубой, с вышитыми ласточками. Тэлион, надеюсь, простит. Ему пойдут ласточки.

Деньги. С деньгами вышло неловко. Принцессам не дают денег, за них платят. В шкатулке для колец нашлось три серебряных листа: один дарёный на именины, два выигранных у Лаэны в шарады. Я не знала, много это или мало. На три листа, судя по всему, можно было купить корзину яблок, или лошадь, или полдома. В счёте я разбиралась хуже, чем в стихосложении.

Лук. Мой собственный, ясеневый, с тетивой из конского волоса, который мне подарили на совершеннолетие вместе с правом ходить на охоту без наставника. Стреляла я хорошо. Ни в кого живого пока не попадала, но мишени меня уважали.

Девятый том. Его я положила в мешок последним и долго думала, брать ли. Пользы от него, как выяснилось, не было никакой. Но без него мне было так, как, наверное, бывает дереву, которое выкопали вместе с корнями и не дали ни горсти родной земли.

И записку. Её я переложила из рукава во внутренний карман плаща. Не знаю зачем. Возможно, затем, чтобы, если её автор однажды найдётся, вернуть ему лично.

Письмо матушке я начинала четыре раза. В первый раз вышло три строфы. Во второй две, но с рефреном. В третий я написала прозой целую страницу о долге, о лесе, о бобровой запруде и о том, что дочь не вещь, а межевой камень, и, перечитав, поняла, что сама сравнила себя с камнем, порвала и бросила клочки в цветочный горшок. Получилось даже красиво: как снег на фиалках. В четвёртый раз я написала одно слово: «Простите». Посмотрела на него. Это было самое короткое, что я когда-либо писала, и оно было неправдой: просить прощения я не

собиралась. Тогда я его зачеркнула и оставила лист на столе как есть. Пусть матушка разбирает, что значит зачёркнутое «простите». Во втором томе об этом ничего нет.

Из покоев на седьмой ветви ведут две дороги вниз. Одна по лестнице, мимо стражи у каждого яруса, с поклонами. Другая по дереву.

Я выбрала дерево.

Лазать по стволам светлым принцессам не запрещено, но и не поощряется: том первый, «О достоинстве», глава о положении тела в пространстве, допускает подъём на дерево «в случае пожара, наводнения и для сбора омелы в праздник». Сбор омелы бывает раз в год, и всё моё детство я ждала его, как другие дети ждут сладкого. Ильвэ лазала лучше меня, но бросила в сто лет, потому что «неприлично». Я нет. Я просто перестала делать это при свидетелях.

Ясень принял меня так, как принимал всегда, без удивления. Седьмая ветвь, шестая, потом длинный переход по суку к соседнему буку, где кора шершавая и держит ладонь. Луна стояла низко, в половину, и светила ровно настолько, чтобы различать следующую ветку и не видеть земли. Мешок с томом колотил меня по спине на каждом шаге, лук цеплялся за листья. Я старалась не дышать громко. Как на примерке.

На четвёртом ярусе Ясень проходит мимо окна Ильвэ.

Я не собиралась туда заглядывать, но в окне горел свет, и стараться не пришлось: сестра стояла у раскрытых створок в ночной рубашке, с распущенными волосами, и глядела прямо на меня. Нас разделяло два шага пустоты и одна ветка. Я замерла, прижавшись к стволу, в сером плаще, пахнущем козой, с луком через плечо.

Струна, которой звучала Ильвэ, натянулась так, что я ждала, когда она лопнет.

Сестра постояла. Потом протянула руку, взялась за ставню и закрыла её. Аккуратно, без стука, как закрывают книгу, которую дочитали. Свет за ставнями погас.

Я ещё немного повисела на суку, гадая, что это значит. Потом решила, что гадать некогда, и полезла дальше.

Внизу пахло прелой листвой и ночной водой из ручья. Я спрыгнула в мох, и мох под ногами чавкнул так громко, что где-то на третьем ярусе всполошилась сова. Стражник у Нижних ворот (тот самый, про которого хихикали мастерицы) стоял ко мне спиной и смотрел на луну. Судя по звуку, он писал в уме стихи, и не очень хорошие. Я обошла его по дуге, через малинник, и оставила там клок плаща и кусок рукава.

Ограда Светлого сада высокая, в два моих роста, из серебряной решётки, увитой плющом. Её ставили не от воров, а для красоты, поэтому перелезть через неё может кто угодно, у кого есть руки и нет стыда. Руки у меня были. Стыда я, как выяснилось, захватить не успела.

Я забросила наверх мешок. Девятый том глухо стукнул по ту сторону, упав, кажется, в крапиву. Лук пришлось просунуть между прутьями. Потом я поставила ногу на завиток решётки, ухватилась за плющ, подтянулась, и на самом верху, сидя верхом на серебряной ограде, в разорванном плаще, с мокрыми коленями и веточкой малины в волосах, вдруг остановилась.

С этой стороны был мой лес. Ясень со светом в верхних ветвях, где матушка, наверное, всё ещё разбирала налог на мёд. Зал Ткачих, где на распялке стояло платье с задравшимся листом. Ставня Ильвэ. Окно Лаэны, тёмное: она спала. Сто двадцать три года, расписанные по девяти томам на каждый случай, от града до лисы.

С той стороны была крапива, дорога и ничего. Ни одной главы.

Мне стало так страшно, что зазвенело в ушах. А потом я прислушалась к этому звону и поняла, что это не страх. Вернее, не только он. Где-то очень глубоко, там, где у других звучит их собственная мелодия, а у меня всегда была тишина, что-то тихо и неуверенно тронуло одну струну. Одну ноту. Я не успела её разобрать. Она прозвучала и затихла, а может, мне просто показалось.

За всю мою жизнь я впервые делала то, чего не было ни в одном из девяти томов.

Я перекинула ногу через ограду и спрыгнула в крапиву.

Глава 2. Отсутствие аллергии на голубей

Брачной конторе Вейс требуется секретарша. Опыт не важен. Обязательны честность, терпение и отсутствие аллергии на голубей.

«Вестник Арвена», последняя полоса, мелким шрифтом

Крапива жглась до самого утра.

Об этом в девяти томах тоже ничего не сказано, и я подозреваю, что авторы просто никогда в неё не падали. Я шла по дороге на запад, прочь от опушки, с мешком за спиной и луком на плече, и мои ладони горели так, будто я всю ночь держала их над свечой. К рассвету лес кончился. Не сразу, а постепенно, как кончается песня, которую поют уже не все: сперва поредели буки, потом ясени уступили место ольхе и орешнику, потом пошли поля, и над полями встало солнце, огромное и совершенно незнакомое. В лесу оно приходит сквозь листья, по кусочку. Здесь оно вышло всё целиком и сразу, как гость без доклада.

Мне хотелось обратно. Я честно себе в этом призналась примерно на третьей миле: люди меряют дорогу милями, а мы, светлые, перелётами сойки, и даже в собственных мыслях я уже путалась в мерах. Тянуло меня не во дворец, не к платью на распялке, а под крышу из листьев, где солнце не смотрит на тебя целиком.

Обратно я не пошла. Отчасти из упрямства, а ещё потому, что на дороге показалась телега.

Гнома звали Ульрих Гвоздь, и вёз он в Арвен сорок бочонков гвоздей и одну головку сыра, которую ел сам. Телегу тянул мул по имени Процент. Ульрих сообщил мне это раньше, чем спросил, куда мне надо, и я сразу его полюбила: так звучат люди, у которых всё уже посчитано. Ровно, тяжело и надёжно, как жёрнов.

— В Арвен, — я ответила на вопрос, которого он ещё не задал.

— Это я понял. Сюда все в Арвен, отсюда все домой, — гном оглядел меня с головы до ног, задержавшись на капюшоне. — Платить чем будешь?

Я достала серебряный лист. Он лёг на мою ладонь, тонкий, с прожилками, звенящий от малейшего движения, и солнце в нём заиграло. Гном взял его двумя пальцами, поднёс к глазам, потом попробовал на зуб и вернул.

— Листья, — заключил он без восторга. — Светлые. Мне в Арвене за него никто гроша не даст. Меняла возьмёт, но треть себе. А я к меняле не пойду, он мой шурин.

— У меня есть ещё два.

— Хоть двадцать. Говорю тебе: в городе это не деньги, а красивая вещица, — Ульрих перевёл взгляд мне за плечо. — Вот лук у тебя хороший.

Я не сразу сообразила. А когда до меня дошло, рука сама легла на тетиву. Этот лук мне вручили на совершеннолетие, в Зале Стрел, при всём дворе, и Владычица сама надела мне на запястье кожаный наруч. Я стреляла из него восемнадцать лет. Он был единственной вещью, которую я выбрала себе сама: мне предлагали три, и я взяла этот, потому что он звучал.

— Мишени бить умеешь? — гном покосился на наруч.

— С пятидесяти шагов, в середину.

— Ну так в Арвене мишеней нет, — хмыкнул гном. — Там бьют словом. Довезу до ворот, кормлю сыром и дам сверху четыре кольца. На первое время хватит, если не будешь платить за постой.

Я подумала, как повела бы себя Ильвэ. Ильвэ поторговалась бы. Том пятый, «О дарах и обмене», учит, что первую цену не принимают никогда, ибо это оскорбляет дающего. Я открыла рот, чтобы поторговаться, и сказала:

— Пять колец. И вы никому не скажете, что видели светлую на этой дороге.

Ульрих Гвоздь посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом, каким, вероятно, смотрел на бочонок с подозрительным весом.

— Пять, — сдался он. — Насчёт второго не беспокойся. Я гном, а не «Вестник».

Так я продала свой лук. Мул Процент обнюхал его, когда гном укладывал оружие между бочонков, и чихнул.

Неделя дороги в моей памяти сложилась в три вещи: сыр, сено и газету.

Сыр Ульрих ел трижды в день, отрезая каждому по ломтю, мне и себе, и каждый раз сообщал, сколько это стоит. К пятому дню я знала цену сыра лучше, чем все налоги на мёд, которые матушка обсуждала со своим казначеем.

На постоялые дворы гном не заезжал: «непроизводительно». Мы ночевали в стогах. Если вы никогда не спали в стоге сена, я могу вам рассказать, что это такое: это как лежать в огромной колючей шляпе, где кто-то живёт, и этот кто-то всю ночь шуршит у вас над ухом и обижается, что вы заняли его место. Первую ночь я не сомкнула глаз. Вторую тоже. На третью уснула раньше гнома и очнулась с мышью в капюшоне. Мышь, кажется, пробудилась первой и была недовольна куда сильнее.

Под капюшоном гном меня ни разу не спросил. Только на второй день, когда мы проезжали деревню и на нас уставились дети у колодца, он заговорил, не поворачивая головы:

— Уши спрячь получше. В Арвене эльфов полно, никто и не глянет. Но светлые девицы по дорогам в одиночку не ходят. Спросят.

Я спрятала. И впервые задумалась, что отвечать, если спросят.

Имя мне пришлось придумать на четвёртый день. Мы стояли у брода, Процент пил, а с другого берега какой-то возчик крикнул Ульриху, кого он везёт. Гном обернулся ко мне, и я вдруг поняла, что ни разу за всю дорогу не назвалась. Он не спрашивал. Гномы не интересуются тем, за что им не заплатили.

— Нелли. Меня зовут Нелли, — вылетело у меня само. Так меня звала кормилица, пока Ильвэ не объявила, что это «неблагозвучно и мещански». Мне тогда было пять лет, и я плакала.

— Нелли её звать, — крикнул гном на тот берег. — Племянница. Сирота.

Это была неправда, и я ждала, что сейчас что-то случится. Ничего не случилось. Возчик кивнул и поехал дальше, гном тоже. Люди, оказывается, говорили неправду так же легко, как дышали, и мир от этого не рушился. Я ещё долго об этом думала.

Фамилию я сочинила позже, ночью, лёжа в стогу и перебирая в кармане три серебряных листа. Мне нужна была фамилия, которая не звучала бы как песня. Лист. Нелли Лист. Коротко, как отказ. Мне понравилось.

Газету я нашла на шестой день, утром. В неё был завёрнут сыр.

«Вестник Арвена», позавчерашний, промасленный, с отпечатком сырной корки посередине. Я развернула её, пока гном запрягал Процента, и стала читать всё подряд, потому что это был первый текст за неделю, кроме Девятого тома. О ценах на зерно. О новом цвете брачной печати, «огонь дракона», внесённом в справочник Гильдии. О конторе на Сиреневой улице, где эту печать зажгли. На последней полосе, мелким шрифтом, внизу, между объявлением о продаже породистых хорьков и предложением услуг гадалки, стояло:

«Брачной конторе Вейс требуется секретарша. Опыт не важен. Обязательны честность, терпение и отсутствие аллергии на голубей».

Я перечитала трижды. Объявление меня рассмешило так, что гном оглянулся.

Брачная контора. Беглая невеста идёт работать к свахе. Ильвэ сказала бы, что это безвкусица, а Лаэна написала бы об этом балладу. А я подумала о томе четвёртом, глава «О сокрытии»: «Лист прячут в лесу». Меня станут искать где угодно, только не там, где сватают. Никому из матушкиных стражей не придёт в голову заглянуть в место, куда сбежавшая невеста должна бы бояться зайти больше всего.

Опыта у меня не было никакого, и он был не важен. Терпения у меня было сто двадцать три года. С честностью было сложнее: я уже два дня как была Нелли Лист. Зато голубей я в жизни близко не видела, и, следовательно, аллергии на них у меня быть не могло.

Я сложила газету и спрятала её под плащ, рядом с запиской доброжелателя.

Арвен звучал так, будто сто оркестров настраивались одновременно и никто не собирался начинать.

Ульрих высадил меня у Западных ворот после полудня, вручил пять колец и прощальный ломоть сыра («за счёт заведения, раз уж ты сирота») и уехал, не оглядываясь, вместе с Процентом и моим луком. Я стояла у ворот, и город обрушился на меня со всех сторон. Колёса по камню. Торговка с корзиной, которая звучала, как труба с трещиной. Два стражника, один в лад с другим, как спевшиеся дрозды. Ребёнок, свистящий в дудочку. Собака. Колокола где-то вдали. Тысячи людей, нелюдей и полулюдей, каждый со своей нотой, и ни один не слушал другого. У нас в лесу даже ссорились в лад. Здесь все звучали поверх друг друга, и мне понадобилось почти полчаса, чтобы перестать вздрагивать.

Потом пошёл дождь.

Сиреневую улицу я искала до темноты. Прохожих спрашивать боялась: мне казалось, что стоит открыть рот, и все услышат мой акцент, и кто-нибудь догадается. Поэтому я ходила, читала таблички и заблудилась четыре раза. Один раз забрела на рынок, где торговали рыбой, и долго стояла, потрясённая её количеством и запахом. Другой раз вышла к реке и смотрела, как под мостом проплывает баржа, на которой гном играл на губной гармошке. Гном фальшивил. Баржа шла ровно.

Улицу я нашла, когда фонарщик уже закончил свой обход.

Она была узкая, мощёная, с кустами сирени вдоль тротуара, давно отцветшими и мокрыми насквозь. Дом номер девять зажали с двух сторон ателье, где за стеклом белело свадебное платье на манекене, и лавка похоронных венков с урной в витрине. Сам дом был узкий, в три этажа, с вывеской над дверью: «Брачная контора Вейс. Основана в 714 году. Сто процентов счастливых союзов».

Я стояла через улицу, под чужим навесом, и смотрела на эту вывеску очень долго. Сто процентов. Я сбежала от союза, который обязан был стать счастливым целиком и полностью, потому что так записано в договоре и так велит матушка. Нужно было идти прочь. Ноги не шли.

В окне первого этажа горела лампа. За окном кто-то сидел.

Колокола пробили девять, потом половину. Я дрожала уже не от холода, а просто так, по привычке. Дождь стекал с капюшона за шиворот, плащ Тэлиона промок и пах теперь козой, побывавшей в реке. Если бы меня сейчас видела Ильвэ, она бы закрыла ставню снова, и на этот раз от стыда.

Без четверти десять я перешла улицу.

На двери висела табличка «Закрыто», а под ней, мелким чужим почерком: «Разбитые сердца — с девяти утра». Я перечитала её дважды. Моё сердце не было разбито. Оно было, если честно, слегка помято и немного промокло, но целое. Значит, мне можно было и сейчас.

Я постучала. Никто не ответил. Я постучала ещё раз, тихо, совсем тихо, так, как стучат, когда больше идти некуда.

Дверь приоткрылась на цепочку.

В щель упал свет лампы, а за светом стояла женщина. Невысокая, в сером платье с белым воротничком, с тёмными волосами в пучке, из которого к вечеру выбилось несколько прядей. Очки в тонкой оправе сидели у неё на лбу, будто она забыла их там. Лицо строгое, глаза серые.

Я прислушалась, прежде чем успела себя остановить. Это получается само, как дыхание.

Она звучала, как часы с очень хорошим ходом. Ровно, точно, без единого лишнего звука, тик в тик. А под этим, если прислушаться, было что-то ещё: тёплое, низкое, похожее на гул

печи, в которой горит хорошее полено. Я никогда раньше не слышала, чтобы в одном человеке звучало сразу и то, и другое.

Она смотрела на меня. Я на неё. Дождь лил.

— Добрый вечер. Меня зовут Нелли. Нелли Лист. Я по объявлению. Вам ведь нужна секретарша?

Где-то внутри, за её спиной, звякнул колокольчик. Коротко, отчётливо, как ложечка о край чашки.

Женщина обернулась на звук. Потом снова повернулась ко мне. Губы у неё дрогнули, но она удержалась, и это было заметно, как у человека, который сдерживает чих.

— Колокольчик у нас звенит, когда кто-нибудь говорит неправду, — объяснила она спокойно, будто речь шла о погоде. — Это вас не смущает?

Я не знала, что ответить. Ответить «нет» значило солгать. «Да» было признанием. Девятый том на этот счёт ничего не предусматривал, и я ответила то, что было правдой:

— Смущает. Но я всё равно очень хочу эту работу.

Колокольчик промолчал.

Женщина сняла цепочку.

— Входите. Вы промокли насквозь, а у меня как раз заварен чай.

Приёмная была узкой и длинной, как футляр от флейты. Вдоль левой стены тянулись дубовые ящики с латунными табличками: «Люди А–Л», «Люди М–Я», «Драконы», «Оборотни», «Гномы». И два ящика рядом: «Эльфы светлые», «Эльфы сумеречные». На них я посмотрела, а потом сразу перестала смотреть. Над ящиками висел портрет пожилой дамы в лиловом, с веером и лорнетом. Дама разглядывала меня с таким интересом, что я на мгновение поверила, будто она сейчас что-то скажет. Потом списала это на усталость.

У окна, в клетке с открытой дверцей, сидел голубь. Толстый, сизый, с розовыми лапами. Перья у него на шее стояли дыбом, и глядел он на меня так, как смотрят мастерицы на ткань, которую им принесли в работу: с подозрением и надеждой.

— Это Купидон, — хозяйка поставила лампу на стол. — Гильдейский почтовый голубь. Он кусается. Вы говорили, что у вас нет аллергии.

— Я ничего не говорила.

— В объявлении было условие, — напомнила хозяйка.

— Аллергии у меня нет, — призналась я голубю, потому что с хозяйкой мне было трудно разговаривать из-за её очков. — Но я никогда не видела голубей так близко.

Колокольчик, висевший над столом, промолчал. Голубь склонил голову набок и что-то проворчал, по-голубиному. Мне показалось, это было «посмотрим».

Хозяйка налила мне чаю в большую глиняную чашку. Чай пах чабрецом и чем-то ещё, домашним. Потом она села за стол, опустила очки на нос и достала из ящика чистый лист. И я поняла, что это не чаепитие. Это собеседование.

— Делия Вейс, — она представилась так, будто ставила подпись. — Хозяйка конторы, лицензия номер четыреста шесть. Опыт работы?

— Никакого. Совсем.

— Что вы умеете?

Я задумалась. Список у меня был, но я не знала, подойдёт ли он.

— Говорить на семи языках. Писать стихи по канону и без. Держать осанку. Стрелять из лука, но лука у меня больше нет. Отличать фальшивую ноту от верной. Знаю девять томов… — я осеклась. — Знаю очень много правил вежливости.

Колокольчик молчал. Госпожа Вейс записывала. Зелёными чернилами.

— Кофе варить умеете?

— Никогда не пробовала.

— Бумаги подшивать?

— Я подшивала подол, — неуверенно предложила я. — Однажды. Мне не понравилось.

Перо остановилось на полуслове. Хозяйка подняла на меня глаза поверх очков, и мне показалось, что где-то в глубине её часового механизма тёплая печь тихонько хмыкнула.

— Терпение? — продолжила она тем же ровным голосом.

— Его у меня очень много. Правда, — я спохватилась. — Иногда даже слишком.

— А честность?

Вот оно. Я поставила чашку на блюдце, аккуратно, чтобы не звякнуть, и посмотрела на колокольчик. Он висел над столом, маленький, медный, с гильдейским клеймом, и ждал.

— Честность у меня есть вся, — проговорила я медленно, подбирая каждое слово. — Кроме одного слова. Того, которое вы слышали у двери.

Колокольчик не шелохнулся.

Госпожа Вейс сняла очки. Положила их на стол. Посмотрела на меня без них, и взгляд у неё стал мягче, но и внимательнее, как у лекаря, который отложил инструмент, чтобы послушать руками.

— Это лучше, чем у большинства моих клиентов, — она отпила из своей чашки. — А теперь снимите капюшон, пожалуйста. С него течёт мне на анкеты.

Я сняла.

С волос текло. Я заправила мокрые пряди за правое ухо, а левое прикрыла ладонью, будто поправляла прядь, и держала так, пока не почувствовала, что веду себя глупо. В левом висели три серебряных кольца. Их вдели мне при обручении, то есть в день моего рождения, и снять их нельзя ничем, кроме свадебного обряда. По ним меня узнал бы любой светлый в Арвене.

Госпожа Вейс посмотрела на моё правое ухо. Острое, длинное, совершенно не человеческое. Потом на мою ладонь у левого. Потом снова в анкету.

Она не спросила ничего.

Я ждала. Сделала глоток чаю, обожгла язык, подождала ещё. Хозяйка дописала строчку, поставила точку и подняла голову.

— Статья восьмая Кодекса свахи, — проговорила она, будто отвечая на мой незаданный вопрос. — Не спрашивать о том, на что клиент не ответил.

— Я не клиент.

— Тем более, — отрезала она.

Колокольчик молчал. Портрет над картотекой, по-моему, улыбался, но я снова решила, что устала.

Условия она перечислила коротко, загибая пальцы, и я внимала, как когда-то казначею: восхищаясь тем, что всё так понятно и так мало касается меня. Работа с девяти до семи. Комната при конторе, стол, три союза в месяц, а пока испытательный срок, два. Отвечать на звонок. Записывать клиентов. Подшивать анкеты. Варить кофе (на этом месте она посмотрела на меня с сомнением). И говорить «нет» тем, кому она сама не успела.

— Говорить «нет»? Просто так?

— Это самое трудное в нашем деле, — объяснила госпожа Вейс. — Клиенты хотят невест с крыльями, мужей с замками, родственников без характера. Им надо отказывать. Вежливо, но так, чтобы они поняли.

Я подумала о матушке, о трёх строфах и о хромающем размере. Сказать «нет» вежливо, но так, чтобы поняли, я не умела ни на одном из семи языков. Но промолчать в эту минуту было бы почти ложью, а колокольчик слушал.

— Я научусь, — пообещала я.

Колокольчик над столом чуть шевельнулся. Не звякнул: качнулся, будто раздумывал. Госпожа Вейс посмотрела на него с интересом.

— Он сомневается, — удивилась она вслух. — Это с ним редко бывает.

Наверху что-то глухо стукнуло, словно уронили мешок с мукой, и тотчас же низкий мужской голос выругался на языке, которого я не знала. Это был не эльфийский и не гномий, а что-то раскатистое и горячее, со множеством рычащих звуков. Посреди тирады по лестнице пролетел сквозняк, кто-то наверху, видимо, ответил, и брань прервалась смешком.

— Мой муж, — без всякого выражения сообщила госпожа Вейс. — Он дракон. Кухонная притолока ему по грудь, он каждый вечер о неё бьётся. Не обращайте внимания.

Я не могла не обращать.

Я его слышала. Через потолок, доски и лестницу, поверх брани, которая уже снова продолжалась, до меня доходил его звук: низкий, медленный, огромный, как гул колокола, который ударили когда-то очень давно, только этот гул был тёплый, а не холодный, как у матушки. А потом я услышала, что он делает с её звуком. С часовым механизмом и тёплой печью под ним.

Они звучали в лад.

Не одинаково. Совсем по-разному: она тикала, он гудел. Но её звук откликался в его гуле, а его в её тиканье, как отзывается струна на соседнюю, когда по той проводят смычком. Ты трогаешь одну, а поёт вторая. О таких парах я читала на старых свитках в Зале Стрел, в легендах, в балладах, которые Лаэна переписывала каллиграфией. Своими ушами я никогда не слышала ни одной. Даже у матушки с отцом, когда отец был жив, звуки только вежливо не мешали друг другу.

Я поставила чашку. Руки у меня, кажется, дрожали.

— Вы замужем совсем недавно, — у меня вырвалось, прежде чем я успела подумать о третьем томе и о том, что гостю не пристало комментировать хозяйский дом.

Госпожа Вейс замерла с пером в руке.

— Шестьдесят дней, — она сощурилась. — Откуда вы знаете? В газетах писали только о печати.

— Это слышно, госпожа Вейс.

— Что именно? Что он стукнулся о притолоку? — не поняла она.

— Нет, — я поискала слова и не нашла ни одного, которое не было бы стихами. — Как вы звучите. Вдвоём.

Над столом стало очень тихо. Колокольчик висел неподвижно. Портрет в лиловом медленно поднял лорнет к глазам, и на этот раз я точно знала, что мне не показалось, но мне уже было всё равно. Госпожа Вейс долго смотрела на меня, слегка наклонив голову, совсем как голубь.

— Делия, — позвал сверху тот же низкий голос, теперь уже без всякой брани. — Кто там у тебя?

— Новая секретарша, — откликнулась хозяйка, не отрывая от меня взгляда.

— В десять вечера? — усомнился муж.

— По объявлению, — пояснила Делия.

— А голуби? — поинтересовался Северин.

Хозяйка посмотрела на клетку. Купидон стоял на самом краю дверцы, переступая розовыми лапами, и разглядывал меня так пристально, будто собирался вписать в собственную картотеку.

— Пока не кусают, — крикнула она вверх. — Ложись спать, Северин. Я скоро.

Наверху хмыкнули, затопали и затихли. Звук его остался, никуда не делся, просто отодвинулся, как отходит от окна гроза.

Госпожа Вейс сложила лист с моими ответами пополам и убрала в ящик стола.

— Комната под лестницей, — она поднялась и взяла лампу. — Там узко, но сухо, и постель застелена. Утром в девять. Купидона не кормить, сколько бы он ни просил: он не голодный, он просто так устроен. На седьмую ступеньку не наступать, она скрипит. Впрочем, вам это не грозит, вы будете жить под ней.

— Госпожа Вейс.

Она обернулась у самой лестницы.

— Почему вы меня взяли? — я сама не знала, зачем это говорю. — Колокольчик ведь зазвенел.

Хозяйка подумала. Повертела в пальцах очки.

— Потому что он зазвенел один раз, — ответила она наконец. — А вопросов я задала двенадцать.

Комнатка под лестницей оказалась ровно такой, как было обещано: узкой и сухой. Кровать, полка с подшивками старых журналов, крючок для одежды и маленькое окошко под потолком, в которое было видно только дождь и кусочек фонаря. Пахло бумагой, пылью и немного чабрецом.

Плащ Тэлиона я повесила на крючок. Девятый том поставила на полку, между журналом приёма за семьсот шестьдесят второй год и чьим-то справочником о драконьих гербах. Он стал там, тонкий, в зелёной коже с серебряным тиснением, и выглядел, как светлая принцесса на рыбном рынке: странно, но с достоинством. Записку доброжелателя и газету я положила под подушку. Потом подумала и переложила записку в том. Пусть лежат вместе, им есть о чём поговорить.

Над головой скрипнула седьмая ступенька, громко, жалобно, и стихла. Госпожа Вейс поднималась наверх, к своему дракону. Я слышала, как её часовой механизм уходит выше и выше и как его огромный тёплый гул встречает её на третьем этаже, и как они начинают звучать вместе, тише, тише, пока совсем не растворились в шуме дождя.

Завтра было первое Астры.

Завтра у Лунного брода собирались петь. Сорок два гостя со стороны сумеречных, которых я так и не рассадила. Платье с задравшимся листом. Матушка в кресле из корня. Ильвэ, закрывающая ставню. И где-то на той стороне брода жених с носом «Твёрдость», который придёт к поляне, встанет у воды и будет ждать невесту.

Я легла, натянула одеяло до подбородка и стала смотреть в потолок, то есть в изнанку лестницы. Ступеньки шли наискосок, как ветви. Сон не шёл.

Дверь, которую я оставила неприкрытой, тихо скрипнула.

В проём, переваливаясь, вошёл Купидон. Остановился на пороге, огляделся с видом хозяина, проверяющего, не стащили ли чего, и неторопливо, не спрашивая разрешения, взобрался по свисающему краю одеяла на кровать. Прошёл по мне, как по мосту. Потоптался у меня в ногах, выбирая место, и уселся прямо на мою левую ступню, тяжёлый, тёплый, пахнущий перьями и пылью.

Я лежала не дыша. Так стоят на примерке, когда нить слышит.

Голубь поворочался, сунул голову под крыло и заворчал, низко и сонно, как кипящий чайник, у которого убавили огонь. Его звук был простой, круглый и немножко сердитый. С моим, которого я никогда не слышала, он, наверное, тоже как-нибудь звучал. Узнать этого мне было не дано.

Нога у меня затекла через четверть часа. Я не пошевелилась до утра.

Глава 3. Худшая секретарша Арвена

Она не умела ничего из того, что полагалось уметь, и только одно знала в совершенстве: как смотреть на людей, будто они ещё не безнадёжны.

Розалинда Фьорд, «Пламя и кружево»

Утром первого Астры я проснулась невестой, которой никто не хватился.

Так, по крайней мере, мне показалось в первую минуту, пока я лежала под изнанкой лестницы и смотрела, как в окошко под потолком лезет серый арвенский свет. Купидона на ноге уже не было. Нога была, но я её не чувствовала. Где-то наверху ходили, звякали посудой, пахло поджаренным хлебом. На улице кричал разносчик газет. Город звучал так же, как вчера, все сто оркестров вразнобой, и ни один из них не знал, что сегодня у Лунного брода должна была выйти к воде светлая принцесса в платье с задравшимся листом.

Я села и стала растирать ногу. Сейчас там, у брода, наверное, уже расставляли скамьи. Ставили фонари на воду. Ильвэ проверяла список. Лаэна плакала, потому что Лаэна плачет на всех свадьбах, даже на несостоявшихся. А матушка… Про неё я решила не думать, пока не надену башмаки.

Башмаки я надела. Думать всё равно пришлось.

Ровно в девять в дверь моей комнатки постучали. Не так, как стучала вчера я, а основательно, трижды, костяшками, с паузами одинаковой длины, будто отмеряя их по линейке.

— Госпожа Лист, — голос за дверью шёл, казалось, из-под пола. — Рабочий день начался. Прошу к столу.

Гримбальд Шпат, гном, бухгалтер конторы, оказался ниже меня на голову и старше на семнадцать лет, о чём уведомил меня сразу, едва я вышла, как докладывают о весе груза. Борода у него была заплетена в три косы с медными кольцами, на носу сидели круглые очки, на руках были нарукавники, один из которых был прокушен. Звучал он, как счёты: костяшки щёлкают туда и сюда, ровно, сухо, и всё сходится до гроша. Под этим щёлканьем, глубже, было ещё что-то, тихое и совсем не бухгалтерское, вроде скрипки, которую держат в футляре под кроватью. Я тогда не придала этому значения.

— Журнал приёма, — гном положил передо мной книгу толщиной в мою ладонь. — Каждый клиент записывается сюда: имя, раса, время прихода, цель визита. Чернила зелёные, у госпожи Корделии других не водится. Перо. Пресс-папье. Песочница. Колокольчик над столом трогать не надо, он сам. Голубя не кормить.

— Мне вчера говорили, — напомнила я.

— Вам будут говорить это каждый день, — гном снял очки, подышал на стёкла и надел обратно, так и не протерев. — Голубь умеет просить. Учтите, ест он за лошадь, а у нас нет даже осла. Непроизводительные расходы.

Я учла. Купидон сидел в клетке на окне и смотрел на меня, как будто ничего между нами ночью не было. Нога ещё покалывала.

Госпожа Вейс спустилась без четверти десять, в том же сером платье с белым воротничком, и отдала мне связку ключей, ни одного из которых я так и не научилась отличать от остальных. Следом за ней, пригнувшись под притолокой лестницы, сошёл её муж. Я впервые увидела его глазами, а не ушами, и уши оказались точнее: он был огромный, рыжий с медным отливом, а от него шло тепло, как от летнего камня под вечер. Он остановился передо мной, оглядел мой капюшон, который я так и не сняла, и чуть склонил голову.

— Доброе утро. Северин Хорн. Седьмую ступеньку перешагивайте, — предупредил он.

— Я под ней живу.

— Тогда вам повезло больше, чем мне, — он потёр лоб, на котором розовела свежая ссадина, и ушёл в дождь, не взяв зонта. Звук его ещё долго гудел на улице, удаляясь, и я слышала, как часы госпожи Вейс за моей спиной сбиваются на полтакта, а потом снова идут ровно.

Хозяйка проводила взглядом мой капюшон, но и сегодня не сказала о нём ни слова. Вместо этого через четверть часа в приёмную, распахнув дверь ногой, вошла пышная светловолосая дама с бархатной подушечкой на запястье и тремя булавками во рту.

— Вот она! — объявила дама так, что Купидон присел. Булавки ей не мешали. — Дорогуша, Делия говорит, ты ходишь в капюшоне по дому. В Арвене так не носят, на тебя будут глазеть. Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели?

— Не очень, — призналась я.

— Я так и думала, — она выудила из кармана передника сложенный платок, тонкий, зелёный, в мелкий белый горошек. — Косынка. Под глаза. Повязывать низко, концы назад, и никто не посмотрит выше бровей. Два кольца, и то потому, что горошек вышел из моды. Жози Бланш, «Фата-моргана», соседний дом справа. Будешь выходить замуж, шьёшься у меня.

Я заплатила два кольца из пяти, вырученных за лук. Косынку повязала тут же, отвернувшись к картотеке, низко, концы назад. Получилось. Жози оглядела меня, вынула изо рта одну булавку, поправила мне узел и вставила её обратно.

— Красавица, — заключила она. — Только бледная. Делия, корми её.

И ушла, оставив за собой запах лаванды и звук, похожий на целый духовой оркестр, который играет на площади марш и немножко фальшивит от радости.

Первый клиент пришёл в половине одиннадцатого.

Господин Ансельм Вирт, торговец пуговицами, пятьдесят восемь лет, вдовец, человек, цель визита: «посмотреть, что вы тут делаете, раз уж все говорят». Я записала это в журнал дословно, зелёными чернилами, и госпожа Вейс, заглянув мне через плечо, едва заметно поджала губы, как будто удерживала смех за зубами. В петлице у господина Вирта торчала гвоздика, давно увядшая, коричневая по краям. Звучал он, как старая шарманка, которую давно никто не крутил: ручка заедает, но мелодия внутри целая.

Госпожа Вейс усадила его в кресло для клиентов, положила перед собой чистую анкету и, не поднимая головы, произнесла слова, которых я боялась с вечера:

— Нелли, будьте добры, кофе господину Вирту.

Кухня была на третьем этаже. Я поднялась, перешагнув седьмую ступеньку с таким видом, будто делала это всю жизнь, и встала посреди чужой кухни у медной кофейной мельницы, как у зверя, у которого не знаешь, где голова.

В Светлом лесу кофе не пьют. Пьют росу с листьев, настой мяты, мёд, разведённый в ключевой воде, и всё это готовится одинаково: берёшь траву, или соты, или воду и поёшь над ними, пока они не отдадут тебе то, что у них есть. Мастерицы поют платье. Повара поют хлеб. Тому, что нельзя спеть, у нас не учат.

Я покрутила ручку мельницы. Внутри захрустело. Это меня приободрило. Высыпала то, что намололось, в медный ковшик, налила воды и поставила на огонь. А потом, поскольку больше ничего не умела, наклонилась над огнём и тихонько запела.

Пела я «Песню о ранней воде», которую поют над первым мёдом в Подснежник. Песня длинная, в семь куплетов, и к пятому ковшик закипел. Пахнуть стало удивительно: не горько, как пахнет кофе на улице у лавок, а свежо и солнечно, будто кто-то открыл окно в весенний луг. Я налила кофе в чашку. Он был золотистый и немного светился.

Господин Вирт принял чашку с недоверием. Отпил. Замер. Отпил ещё.

А потом гвоздика в его петлице вздрогнула.

Это видели все: госпожа Вейс, я, Гримбальд, высунувшийся из-за перегородки, и Купидон. Коричневые края лепестков порозовели и расправились, стебель выпрямился, будто его поставили в воду. Цветок раскрылся. Рядом с ним, прямо из петлицы, полез новый бутон, за

ним ещё один, тугие, полосатые, и к тому времени, как господин Вирт поставил пустую чашку на стол, на лацкане у него цвёл целый букет, который не поместился бы ни в одну вазу в этом доме.

— Э, — господин Вирт скосил глаза на свою грудь. — Это так и задумано?

Колокольчик над столом не издал ни звука, госпожа Вейс тоже, и так длилось, наверное, три удара сердца. Потом она закрыла лицо ладонью, и плечи у неё затряслись.

Хозяйка смеялась. Беззвучно, с закрытыми глазами, опершись локтем об анкету. Её часы, обычно такие точные, сбились совсем и зазвенели, как бьют часы на ратуше, вразнобой и все разом. Я впервые слышала, как она смеётся, и чуть не уронила поднос.

— Это… — она отняла руку от лица, уже почти серьёзная, но глаза её выдавали. — Это наш фирменный кофе, господин Вирт. Только для первых клиентов.

Колокольчик звякнул.

Господин Вирт посмотрел на колокольчик, на букет, на меня.

— Знаете, — он осторожно погладил полосатый бутон пальцем. — Я лет двадцать не чувствовал себя таким молодым. Покойная Хедвиг всегда мне вставляла гвоздику в петлицу. Пишите, госпожа Вейс: любимый напиток — ваш кофе. И ищите мне жену, которая любит цветы.

Он заполнил анкету полностью, заплатил задаток и ушёл, неся букет на груди так бережно, как носят орден. Гримбальд выбрался из-за перегородки, подошёл к столу и заглянул в мою пустую чашку, словно надеялся найти там счёт.

— Что вы туда положили, госпожа Лист? — потребовал он.

— Кофе, — я подумала. — И немножко песни.

— Песня в смету не входит, — проскрипел гном. — Сколько стоит одна песня?

— Нисколько. У нас их поют бесплатно.

— Тогда это ещё хуже, — Гримбальд развернулся и ушёл к себе за перегородку, и я слышала, как он там щёлкает костяшками своих настоящих счётов, гораздо громче, чем требовалось.

— Нелли, — окликнула меня госпожа Вейс, вытирая глаза. — Больше не пойте в кофе.

— Он получился невкусный?

— Он получился такой, что клиент будет врать в анкете от лица гвоздики, — она снова уткнулась в бумаги. — Завтра покажу, как варят у людей. Без голоса.

После обеда Гримбальд вынес из-за перегородки стопку анкет высотой мне до колена.

— Сорок одна, — он положил стопку на мой стол, и стол охнул. — Пришли за последние два дня. Разобрать по ящикам, по расе и по алфавиту. Люди А–Л, люди М–Я, гномы, оборотни, драконы, светлые, сумеречные, феи и прочие. Каждую подшить в свой ящик. Номер на обороте. Карандашом. Вопросы?

Вопросов у меня не было. Я была уверена, что это я умею. Это было почти как рассаживать гостей.

Я взяла первую анкету. Мелисса Брам, человек, сорок два года, булочница, вдова. Почерк круглый, аккуратный, с завитушкой на заглавных. И, едва я взяла лист в руки, я услышала её.

Это бывает нечасто. Бумага, которую долго держал человек, хранит его звук, как чашка бережёт тепло, если только что из неё пили: слабо, недолго, но если прислушаться, можно разобрать. Анкета Мелиссы Брам звучала, как хорошо поднявшееся тесто: тепло, мягко, немного кисло. Я положила её на стол и взяла вторую. Горм Хрусталь, гном, ювелир, сто двенадцать лет, вдовец. Звук сухой, острый, как осколок хрусталя, но внутри была пустота, которую очень хотелось чем-нибудь наполнить.

Я положила его лист рядом с анкетой булочницы, и они зазвучали в лад.

Это было так красиво, что я забыла про алфавит. Тесто и стеклышко. Она бы его кормила, он бы чинил ей часы. Я взяла третью анкету, четвёртую, и начала раскладывать их по столу, по

подоконнику, по креслу для клиентов, по полу. Оборотень, который звучал как барабан, нашёл свою флейту в светлой эльфийке, которая писала каллиграфией. Человек, торговец рыбой, нашёл гномку с почерком бухгалтера. Двое людей, оба в очках, оба писали «не знаю» в графе «любимый цвет», звучали так одинаково, что я рассмеялась. Через два часа на полу приёмной лежали сорок одна анкета, разложенные парами и тройками, и все эти пары пели. Тройки не пели, но я надеялась, что разберусь.

Потом я разложила их по ящикам. Парами. Так, чтобы те, кто звучит вместе, лежали рядом, в одном ящике, неважно в каком.

Гримбальд вышел к ящикам в пять. Ему понадобилась анкета Брам. Он открыл «Люди А–Л», нашёл букву «Б» и вытащил оттуда гнома.

Я никогда раньше не слышала, как гном молчит. Это совсем не похоже на тишину. Скорее на то, как в мельнице вдруг остановился жёрнов, а вода всё течёт.

— Горм Хрусталь, — прочёл Гримбальд вслух, медленно, по слогам. — Гном. В ящике «Люди А–Л». На букву «Б».

— Он там рядом с Мелиссой Брам, — пояснила я. — Они звучат вместе.

Гримбальд открыл «Гномов». Там лежал оборотень. Гримбальд открыл «Оборотней». Там лежала светлая эльфийка с каллиграфическим почерком и человек в очках. Он закрыл ящик очень аккуратно, будто в нём спал младенец, и повернулся ко мне. Очки он снял. Это, как я потом узнала, значило, что дальше будет плохая новость.

— Госпожа Корделия! — он не повысил голоса, но его было слышно, кажется, на третьем этаже. — Подойдите, пожалуйста. Ваша секретарша подшила картотеку по мелодии.

Госпожа Вейс подошла. Посмотрела в «Людей А–Л», в «Гномов», в «Оборотней». Потом на меня.

— Нелли, картотека — не хор, — проговорила она очень мягко.

— Я понимаю, — у меня горели щёки. — Но они же…

— Звучат вместе, — закончила она за меня. — Я помню. Переложите всё по алфавиту, пожалуйста, до вечера. Гримбальд, номер на обороте у каждой стоит?

— Стоит, — мрачно проскрипел гном. — Карандашом. Это единственное, что она сделала правильно.

Я перекладывала до семи. Госпожа Вейс сидела за столом, вела приём, а между клиентами, я видела краем глаза, что-то выписывала в маленький блокнот, всякий раз, когда я вынимала из ящика очередную пару. Я решила, что она составляет список моих ошибок. Список, судя по всему, выходил длинный.

Вечером, перед уходом, госпожа Вейс положила мне на стол чистый бланк.

Плотная бумага с гильдейским клеймом, сто граф мелким шрифтом, и наверху: «Анкета Брачной конторы Вейс. Таблица совместимости, издание второе, дополненное».

— Каждый, кто работает в конторе, заполняет анкету, — она надела перчатки. — Для порядка. Гримбальд заполнил свою сорок лет назад. Можете не торопиться, но и не тяните.

— Я ведь не собираюсь… — я не знала, как закончить, чтобы не вышло ни правдой, ни ложью. — Мне не нужен муж.

— Мне тоже не был нужен, — возразила она и погасила вторую лампу. — Это не обязательство, Нелли. Это опись. Графы ничего от вас не требуют, они просто хотят знать.

Я унесла бланк к себе под лестницу.

Ночь на второе Астры была тихой, без дождя. Через окошко под потолком было видно, как над крышами стоит луна, та же самая, половинная, что светила мне, когда я лезла через ограду. Только теперь она немного пополнела. У Лунного брода её сейчас тоже видели. Там, наверное, уже погасили фонари на воде и разошлись. Я попыталась представить, как жених с носом «Твёрдость» стоит у кромки и ждёт, а я не иду, и сорок два гостя за его спиной молчат.

Представила. Мне стало стыдно и одновременно легко, как бывает, когда наконец признаешься в чём-нибудь, пусть даже самой себе.

Я села на кровать с бланком на коленях, положила под него Девятый том вместо доски и окунула перо в чернильницу, которую одолжила у Гримбальда. Чернила, конечно, были зелёные.

Графа 1. «Имя». Я написала «Нелли Лист» и некоторое время смотрела на эти два слова. Они выглядели чужими. Как гостья, которая надела моё платье, и оно ей впору.

Графа 2. «Раса». Я написала «эльф, светлая». Это была правда.

Графа 3. «Возраст». «123». Тоже правда, хотя человек решил бы, что я ошиблась на сто лет.

Дальше пошло легче. В девяти томах есть глава «О письменных ответах старшим», и я знала её наизусть, но в анкете она не годилась: тут не нужно было ни смягчать, ни украшать. Нужно было просто писать как есть. Это оказалось так непривычно, что первые десять граф я заполняла дольше, чем следующие восемьдесят.

«Храп: не знаю. Никто не говорил. Мышь в стогу ворчала, но ей не угодишь».

«Чеснок: не пробовала».

«Отношение к деньгам: пока не разобралась, что это такое. Знаю, что сыр стоит два гроша ломоть».

«Готовность терпеть родственников: высокая. Есть опыт».

«Домашние животные: голубь (не мой, но, кажется, сам так не считает)».

«Любимый цвет: зелёный. Как горошек».

На графе сорок семь я остановилась надолго. «Страхи». Я написала: «Что меня выдадут замуж, как отдают межевой камень, вместе с лесом». Потом посмотрела, подумала и дописала ниже, мельче: «Что во мне самой нет никакой мелодии». И сразу захотела зачеркнуть. Но зачёркивают то, что неправда, а здесь всё было правдой. Я оставила.

Графа сто была без названия. Просто пустая клетка в самом конце, после «готовности терпеть родственников», без единого слова в заголовке. Я долго на неё смотрела. Что туда писать, никто не объяснил. Я решила, что, наверное, это для тех, кто знает, и оставила её пустой.

Всё, что было в анкете, было правдой. Всё, кроме первой строчки.

Я положила бланк в Девятый том, между главой о граде и разделом о лисе, рядом с запиской доброжелателя, и легла. Купидон этой ночью не пришёл. Я почему-то ждала.

На второй день я отказала клиенту.

Не нарочно. Так вышло.

Госпожа Вейс была наверху, в смотровой, где знакомились двое оборотней, и наказала мне никого к ней не пускать, «хоть королевская гвардия придёт». Гримбальд сидел за перегородкой. В приёмной ждали трое: две сестры-модистки с одинаковыми шляпками и старый оборотень, который пришёл не за невестой, а за справкой для внучки. И тут дверь открылась, и вошёл господин Кунибальд Штамм.

Господин Штамм торговал зерном, о чём сообщил сразу. Он был большой, румяный, в жилете, натянутом на животе так, что пуговицы держались исключительно на собственном мужестве. И звучал он, как телега с горшками на мостовой: громко, весело и в любую минуту всё может разбиться.

— Девушка, — он навис над моим столом. — Вчера отсюда выходила дама. В синей шляпке, с маленькой собачкой. Мне нужно её имя. И адрес. Я заплачу.

Я знала, о ком он. Дама в синей шляпке была вдовой шляпника, анкету она заполнила вчера, и я сама подшивала её в «Людей М–Я». Я знала также, что сказать её имя нельзя. Госпожа Вейс утром показывала мне Кодекс, статью двадцать вторую: тайна анкеты. Карточка принадлежит клиенту и Гильдии, и больше никому.

Нужно было сказать «нет». Одно слово. Колокольчик бы не звякнул. Господин Штамм, вероятно, огорчился бы, и всё.

Я открыла рот. И тут во мне проснулся второй том. Глава о несогласии. Несогласие излагается не менее чем в трёх строфах. А человеку, который пришёл с открытой душой, отказывают, если верить примечанию мелким шрифтом, «в объёме, достаточном, чтобы сердце закрылось без боли».

Душа у господина Штамма была распахнута очень широко. Как и жилет.

— Не гневайтесь, что двери не открою, — начала я, и голос мой сам собой лёг в размер. — За ними тайна, данная не мне. Её хранят, как зёрна под корою, как свет хранит звезда на глубине…

Господин Штамм отступил на шаг.

Я не могла остановиться. Это как бежать с горы: первые шаги ты делаешь сам, а дальше гора несёт тебя за собой. Во второй строфе я объяснила, что имя женщины подобно лепестку: сорвёшь его, и цветок уже не станет прежним. В третьей перешла к тому, что настоящую встречу не купишь за деньги, как не продают рассвет. В четвёртой появился образ ячменя, потому что господин Штамм торговал зерном, и мне показалось это уместным. В пятой ячмень вырос. В шестой его сжали.

К седьмой строфе господин Штамм снял шляпу и прижал её к груди.

Сёстры-модистки перестали шептаться. Старый оборотень выпрямился в кресле. Из-за перегородки донеслось неуверенное «гм», а потом стало совсем тихо, только щёлкнули один раз и замерли счёты.

В девятой строфе ячмень стал хлебом. В десятой хлеб преломили двое, которые нашли друг друга сами, без адресов и без платы. В одиннадцатой я пожелала господину Штамму встретить ту, что сама назовёт ему своё имя. А в двенадцатой, последней, сказала то, ради чего и начинала, только по-другому:

— Ищите ту, что вас сама окликнет. Не та, что в синем, а другая. И вот тогда пускай она проникнет в вас, как весна, войдёт без стука в дом.

Я замолчала.

Господин Штамм стоял посреди приёмной со шляпой у груди, и по его румяной щеке катилась слеза, крупная, как зерно. Одна из сестёр-модисток всхлипывала в платок. Старый оборотень сурово смотрел в окно и часто моргал.

— Я понял, — господин Штамм шмыгнул носом. — Девушка, я… Я всё понял.

Он надел шляпу, повернулся и вышел. Колокольчик над входом звякнул, но это была просто дверь. Через минуту господин Штамм появился опять, потому что забыл трость, а ещё немного погодя вернулся снова и попросил записать ему стихи на бумажке. Хотя бы седьмую строфу. Для жены, которой у него пока нет.

Я записала. Он ушёл совсем.

Сёстры-модистки, выплакавшись, решили, что сегодня не тот день, чтобы выбирать мужей, и ушли тоже, не оставив анкет. Старый оборотень получил справку, подержал мою руку в своей тяжёлой лапе и ничего не сказал.

Из-за перегородки вышел Гримбальд. Он долго смотрел на меня поверх очков. Потом снял их.

— Сорок минут, — объявил он. — Двенадцать строф. Двое клиентов ушли без анкет. Один ушёл без того, за чем приходил, но просил добавки. Госпожа Лист, по нашему ремеслу это называется непроизводительные расходы.

— Я понимаю.

— Не думаю, — гном надел очки обратно и зачем-то поправил нарукавник. — Седьмую строфу запишите и мне тоже, пожалуйста. Для отчётности.

Колокольчик над столом тихо звякнул. Гримбальд, не оборачиваясь, ушёл к себе за перегородку, а я так и осталась сидеть с пером в руке, глядя ему вслед и не понимая, что сейчас случилось. Звук его, тот, тихий, скрипичный, из футляра под кроватью, на секунду стал слышен совершенно ясно. А потом счёты снова защёлкали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.